



Валерий Антонов

Железный круг

Валерий Антонов

Железный круг

«Автор»

2026

Антонов В.

Железный круг / В. Антонов — «Автор», 2026

«Железный круг» — это хроника падения Франции, увиденная глазами Жильбера де Куртене, писца и доверенного секретаря герцога Иоанна Бесстрашного. Начинается всё с надежды: юный Жильбер верит, что служит великому делу. Но шаг за шагом он становится свидетелем того, как благие намерения превращаются в кровавую междоусобицу — убийство герцога Орлеанского, уличные расправы парижских мясников, резня при Азенкуре и, наконец, предательство на мосту в Монтеро. Это история о том, как власть развращает, как верность становится проклятием и как железный круг ненависти смыкается вокруг всех, кто пытается из него вырваться. Исповедь человека, который видел всё, но не смог предотвратить ничего.

© Антонов В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
Часть I. «Сломанная корона» (1404-1407).	8
Глава 1. «Новый герцог».	8
Глава 2. «Два зеркала»	12
Глава 3. «Голос нищих».	16
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Валерий Антонов

Железный круг

Пролог

«Наследство»

Замок Куртене, изгнание. Осень 1422 года.

Я стар.

Это не жалоба и не смирение — это просто факт, который я ощущаю каждой костью, когда поднимаюсь по каменной лестнице этой башни. Ступени стерты ногами моих предков, и я знаю их наизусть, но теперь каждый шаг отдается в коленях тупой, ноющей болью. Вокруг меня стены, которым больше ста лет, и они хранят холод, как старые кости хранят память о тепле.

За окном — моя земля. Или то, что от нее осталось.

Я смотрю на поля, которые никто не возделывает. На дорогу, по которой уже несколько месяцев не проехал ни один купец. На горизонте, где по ночам я иногда вижу далекие отблески пожаров — там воюют отряды, которые называют себя то сторонниками короля, то сторонниками регента, но которые на самом деле служат только своим кошелькам и своей ненависти. Франция умирает. Или, быть может, она уже мертва, а мы просто слишком упрямы, чтобы это признать.

Я пережил слишком многих. Я пережил короля Карла, который сошел с ума, не успев понять, что его королевство разрывают на части те, кто должен был его защищать. Я пережил Людовика Орлеанского, чья смерть стала первой большой раной, из которой Франция истекла кровью. Я пережил моего господина, герцога Иоанна Бургундского, чья рука держала меч над этой раной. Я пережил столько битв, столько осад, столько зим, что мне кажется, я сам стал похож на эту башню — старый, пустой, но все еще стоящий.

И я пишу.

Я пишу для того, чтобы оставить после себя что-то более прочное, чем тело. Мои пальцы дрожат, когда я беру перо, и чернильница кажется непомерно тяжелой. Но я должен. Если не я, то кто же расскажет потомкам, как это было на самом деле? Не те хроники, что переписываются при дворах победителей, чтобы обелить одних и очернить других. Не те поэмы, что сочиняют менестрели, чтобы уладить слух герцогов, ищущим славы. Я расскажу правду.

Или, по крайней мере, то, что я считаю правдой.

Я все еще помню тот день в Шартре. Мне было восемнадцать, я был полон наивной гордости от того, что служу такому великому господину. Герцог Жан только что заключил мир с королем, и казалось, что все беды позади. Я стоял в тени колонны и видел, как он склонил колено перед королем Карлом. Видел, как молодой герцог Орлеанский плакал, прощая убийцу своего отца. Видел, как король поднимает обоих и говорит о мире.

Тогда я подумал: «Вот оно. Вот как правят мудрые короли. Вот как заканчиваются войны».

Как же я был глуп.

Я не знал тогда, что мир в Шартре был не миром, а перемирием. Я не знал, что клятвы принцев стоят не больше, чем слова, которыми они обмениваются за пиршественным столом. Я не знал, что герцог Жан уже тогда готовил новый удар, а молодой Орлеанский уже тогда точил свой гнев.

Но теперь я знаю.

Я знаю, что каждое слово, сказанное на этом мосту в Монтеро, было ложью. Что каждая клятва о мире была лишь прикрытием для убийства. Что те, кто носит короны и герцогские короны, самые опасные из всех зверей, потому что они умеют говорить по-человечески.

Я видел, как Иоанн Бесстрашный умирал. Я стоял на берегу Сены и смотрел, как его тело выносят с моста. Я видел кровь, стекающую в воду, и думал: «Это конец». Но это не был конец. Это было лишь начало новой войны, еще более жестокой, чем все предыдущие.

Потому что мертвые не мстят. Но живые — мстят за мертвых.

Я перебираю старые письма. Вот это — от герцогини Бургундской. Она умоляла меня убедить ее мужа не ехать на ту встречу. Я помню ее глаза, когда она сказала: «Они убьют его. Я знаю». Я не послушал. Я думал, что герцог Жан сильнее. Я думал, что его хитрость и его стража защитят его.

Я ошибся.

Вот это — письмо от моего друга, клерка из канцелярии Дофина. Он писал мне, что заговор готов. Он умолял меня сказать герцогу, чтобы он не переходил мост. Он писал: «Жильбер, они не хотят мира. Они хотят крови». Я не показал это письмо своему господину. Я побоялся. Я подумал: «Если я скажу ему, он сочтет меня трусом. Он не поверит мне». А если бы я сказал? Если бы я настоял?

Я мог бы спасти его. Я мог бы изменить все.

Но я молчал.

В этом — самое тяжелое бремя старости. Не немощь тела, не боль в костях. А память о том, чего ты не сделал. О словах, которые ты не сказал. О решениях, которые ты не принял.

Я часто спрашиваю себя, что двигало герцогом Жаном. Был ли он просто честолюбцем, жаждущим власти? Или он действительно верил, что его поступки — во благо Франции? Я служил ему пятнадцать лет. Я видел его в самые разные мгновения: когда он был великодушен и когда был жесток; когда он смеялся со своими рыцарями и когда он плакал над телом своего брата, убитого при Азенкуре.

Иногда мне кажется, что он хотел как лучше. Но дорога в ад, говорят, вымощена благими намерениями. И Франция сейчас — это ад на земле.

Вот оно, наследство, которое он оставил своему сыну и своему королевству: война, голод, ненависть. Англичане, которые уже правят в Руане, и безумный король, который не понимает, что его дочь выдают замуж за врага. И молодая кровь, которая льется по всей стране, от Ла-Рошели до Фландрии.

Я смотрю на свои руки. Они исписаны чернилами, но не кровью. Я никогда не держал меча в бою. Моя битва была другой: я писал, я убеждал, я советовал. Я думал, что слова — это тоже оружие. Но теперь я понимаю, что слова бессильны против алчности. Слова — это всего лишь ветер. А ветер сносит только солому, но не камень.

Я решил оставить эти записки.

Пусть они будут моим последним словом. Я не знаю, кто их прочтет — быть может, никто. Быть может, они сгниют вместе со мной в этой башне, и черви съедят их, как съедят мое тело. Но я должен попытаться. Я должен оставить свидетельство. Я должен сказать правду о том, что я видел, что я знал и в чем я участвовал.

Я хочу, чтобы потомки знали: мы не были чудовищами. Мы были людьми. Мы любили, мы ненавидели, мы надеялись и отчаивались. Мы совершали ошибки, мы поступали глупо, мы предавали и были преданы. Но мы не были монстрами.

Мы просто жили в такое время, когда монстрами становились те, кто пытался выжить.

За окном опускается ночь. Слышно, как ветер гудит в щелях стен. Где-то далеко лает собака. Это звук мира, который еще не знает, что война уже пришла в его дом.

Я откладываю перо и смотрю на стопку исписанных листов. Это моя жизнь. Это моя исповедь. Это мое проклятие и мое оправдание.

Я начинаю писать с самого начала. С того дня, когда я впервые увидел герцога Жана. С того дня, когда я еще верил, что мир можно спасти.

Я пишу для того, чтобы хоть кто-то понял.

Я пишу, потому что иначе зачем я вообще жил?

Здесь начинается мой отчет. Если ты читаешь это, значит, я мертв или слишком стар, чтобы помнить, что я написал. Пожалуйста, помни: я не герой и не злодей. Я просто был там.

Жильбер де Куртене. Осень 1422 года. Изгнание.

Часть I. «Сломанная корона» (1404-1407).

Глава 1. «Новый герцог».

Я был пажом в доме Бургундского герцога, когда умер старый Филипп Храбрый.

Это было в апреле 1404 года, но я помню тот день так, будто он был вчера. Помню серое, низкое небо над Дижоном, помню стук копыт по мостовой, когда траурный кортеж приближался к городу. Помню запах воска от свечей, которые горели в церкви Сен-Бенинь, и тишину — неестественную, какую-то ватную тишину, которая бывает только во время похорон великих людей.

Я стоял у входа в герцогский дворец, когда прибыл новый герцог.

Он въехал в город не как триумфатор, а как человек, который слишком долго ждал своего часа. Жан Неверский — так его называли раньше, но теперь он был просто Жан, герцог Бургундский, граф Фландрии и Артуа, сеньор Малина и — что было важнее всего — первый пэр Франции. Я смотрел на него из толпы слуг и думал: «Вот он, человек, от которого теперь зависит всё».

Он был невысок ростом, ниже своего отца, и в седле держался с той особой, почти болезненной прямоотой, которая бывает у людей, страдающих гордостью. Его лицо было полным, но не добрым — скорее напряженным, как будто он сжимал зубы даже в те мгновения, когда молчал. Волосы у него были черные, длинные и гладкие, как у нормандских викингов с древних гобеленов, а глаза — маленькие, бледно-голубые, с тем странным светом, который бывает у людей, привыкших смотреть сквозь собеседника.

Я слышал, как старые рыцари перешептывались за моей спиной.

«Он не такой, как его отец, — говорил один. — У старого герцога было сердце».

«У этого тоже есть сердце, — отвечал другой. — Но оно черное, как печь, и холодное, как сталь».

Я не знал тогда, правы ли они. Я был слишком молод, чтобы судить о таких вещах.

Мой отец погиб при Никополе, когда мне было семь лет. Герцог Филипп, узнав об этом, взял меня в свой дом, чтобы воспитать при дворе. Я был сыном рыцаря из боковой ветви дома Куртене — не настолько знатной, чтобы претендовать на земли, но достаточно гордой, чтобы не просить милостыню. Герцог дал мне образование, научил меня читать и писать, доверил мне свои бумаги. Я был не воином, как мой отец, а скорее клерком, писцом, тенью, которая следует за своим господином.

Я любил старого герцога. Он был великодушен и щедр, он умел смеяться и умел плакать. Он держал свой двор так, что даже самые бедные из его слуг чувствовали себя причастными к чему-то великому. Он был человеком, который умел создавать вокруг себя тепло.

Его сын был другим.

Я впервые увидел Жана Неверского за несколько месяцев до смерти его отца, когда он приехал в Париж, чтобы обсудить союз с королем. Он уже тогда смотрел на мир как человек, который считает всех вокруг либо врагами, либо орудиями. Он не смеялся, не шутил и не тратил времени на пустые разговоры. Он задавал вопросы коротко и требовал ответов быстро.

«Вы умеете писать на латыни?» — спросил он меня тогда, впервые, когда я подал ему пергамент.

«Да, монсеньор».

«Хорошо. Мой отец держит вас при себе для чего-то еще?»

«Нет, монсеньор. Только письма».

Он посмотрел на меня так, как смотрят на инструмент, который надо проверить перед использованием. «Вы будете писать для меня, когда я стану герцогом».

Я не знал тогда, что это прозвучало как приговор.

Оммаж, который новый герцог принес королю Карлу, был странным — во всяком случае, так говорили потом старые советники. Обычно наследник приносил одну клятву за все свои владения. Но Жан Неверский принес две: одну за герцогство Бургундское и другую за пэрство Франции, которое давало ему место среди высшей знати королевства. Он делал это так, будто хотел подчеркнуть: то, что он получает, принадлежит ему не по милости короля, а по праву.

Я стоял в толпе придворных и смотрел на эту церемонию. Король Карл был в одном из своих редких светлых промежутков — он сидел на троне прямо, смотрел ясно и даже улыбнулся, когда герцог склонил перед ним колено. Но я заметил, как дрожит рука короля, когда он касается плеча нового герцога. Как будто он чувствовал то, что чувствовали все мы: этот человек не будет просить, он будет брать.

Герцог поднялся, и его глаза на мгновение встретились с глазами короля. В них не было благодарности. В них было что-то другое, чему я не мог найти названия.

Позже я понял: это был расчет.

В те первые недели после смерти отца Жан Бургундский показал себя человеком, который торопится жить. Он раздал приказы, перекроил штат, уволил половину старых слуг и нанял новых. Он продал гобелены, золотую посуду, драгоценности, которые отец собирал десятилетиями, чтобы расплатиться с кредиторами. Говорили, что он выручил почти сто девятнадцать тысяч франков, но большая часть этих денег ушла на оплату долгов, а не на укрепление власти.

Я помню, как в одной из комнат герцогского дворца видел, как слуги снимают с стен огромный гобелен с изображением битвы при Розбеке. Старый герцог заказал его в память о своей великой победе над фламандцами. Теперь его складывали, как ненужную тряпку, чтобы продать какому-то торговцу из Лиона.

«Зачем?» — спросил я одного из старых слуг.

«Новому герцогу не нужны напоминания о славе отца, — ответил он с горечью. — Он хочет создать свою».

Я не знал тогда, насколько пророческими были эти слова.

Герцог Жан не любил Париж. Я заметил это почти сразу. Он держался там, когда требовали дела, но всегда спешил уехать. Его сердце было в Дижоне, в его герцогстве, где он мог чувствовать себя хозяином, не оглядываясь на королевский двор. Но даже в Дижоне он не находил покоя.

Он боялся коммуны.

Это было смешно — думать, что герцог Бургундский, один из самых могущественных людей Франции, боится горожан. Но это было правдой. Он знал историю своего отца, знал, как фламандские города бунтовали против своих сеньоров, знал, что парижане могут подняться в любой момент и перерезать глотки тем, кто не понравится им. Он не доверял народу, и народ чувствовал это.

Когда он совершал свой въезд в Дижон, он потребовал, чтобы ему позволили войти без обычной церемонии. Горожане настаивали на том, чтобы он сначала поклялся соблюдать их привилегии. Он согласился, но с таким лицом, будто ему дали пощечину.

Я писал его письмо к мэру и эшевенам. Он продиктовал его мне холодным, ровным голосом, без единой запинки:

«Мы желаем сохранять и поддерживать упомянутые привилегии нашего названного города...»

Он произносил эти слова, а его пальцы сжимали подлокотник кресла так сильно, что побелели костяшки.

Я понял тогда: этот человек не умеет прощать. Он может терпеть, может откладывать, может делать вид, что забыл. Но он не прощает.

Двор герцога Жана был совсем не похож на двор его отца. Старый Филипп любил рыцарские турниры, музыку, поэзию. Он собирал вокруг себя художников и ученых, тратил деньги на книги и рукописи. При нем дворец в Дижоне был похож на сад, где цвели все добродетели.

Новый герцог считал это пустой тратой.

Он не был необразованным — напротив, он знал латынь, читал древних историков и мог спорить о богословии с любым доктором из Парижского университета. Но он не находил удовольствия в книгах или искусстве. Для него знания были оружием, и он использовал их как меч — только когда нужно было поразить противника.

Я сидел рядом с ним однажды вечером в его кабинете, когда он читал письмо от герцога Орлеанского. Письмо было длинным, витиеватым, украшенным цитатами из классиков. Орлеанский писал о дружбе, о мире, о необходимости объединить усилия для блага королевства.

Герцог Жан читал, и на его лице появилось выражение, которое я запомнил навсегда. Это была не злоба и не презрение. Это было что-то вроде удивления, смешанного с отвращением.

«Он думает, что я поверю ему», — сказал герцог, откладывая письмо.

«Монсеньор?»

«Он пишет мне о мире, — произнес герцог, глядя на огонь в камине. — А через месяц он отправит послов к папе, чтобы тот разрешил ему взять мои земли. Он думает, что я не знаю».

Я молчал. У меня не было слов, чтобы ответить.

Герцог поднялся и подошел к окну. Снаружи была ночь, и звезды тускло мерцали над Дижоном.

«Они все такие, — сказал он тихо, почти про себя. — Они думают, что мир — это игра, в которой можно выиграть, если улыбаться правильным людям. Они не понимают, что мир — это война. Только без оружия».

Он повернулся ко мне, и я увидел в его глазах то, чего не видел раньше: не просто холод, а что-то более глубокое. Боль, смешанную с яростью.

«Ты слышал, что говорят про меня, Жильбер?»

«Монсеньор, я бы не осмелился...»

«Говорят, что я жестокий. Говорят, что я не умею ни любить, ни прощать. Говорят, что я хуже моего отца».

Он ждал, что я отвечу. Я не знал, что сказать.

«Ты знаешь, почему мой отец был великим? — спросил он. — Потому что он был добр. Он умел делать вид, что все люди достойны его любви. Я не умею. Я вижу их такими, какие они есть — лживыми, жадными, мелкими. И я знаю, что если я не буду сильнее их, они сожрут меня».

Он взял перо и пододвинул ко мне чистый лист пергамента.

«Пиши. Я продиктую тебе письмо для моего кузена Орлеанского. Он хочет мира? Я дам ему мир. Но он запомнит этот день, когда поймет, что я не его друг».

Я взял перо, и моя рука дрожала.

В ту ночь я написал первое из многих писем, которые станут прологом к чему-то, что я не мог предвидеть. Письмо было вежливым, почтительным, полным обещаний дружбы. Но я знал, что за каждым словом стоит сталь.

Герцог стоял за моей спиной и смотрел, как я пишу. Я чувствовал его взгляд на своей шее, тяжелый, как рука палача.

«Хорошо, — сказал он, когда я закончил. — Теперь ты понимаешь, как это делается, Жильбер. Ты думал, что мир — это цветы и песни. На самом деле мир — это искусство лгать лучше, чем твой враг».

Он взял письмо, свернул его и приложил печать.

«Ты останешься со мной, — сказал он, не глядя на меня. — Ты будешь видеть всё, что я делаю. Ты будешь знать все мои тайны. А когда я умру, ты расскажешь им всем, как это было на самом деле. Как один человек пытался спасти Францию от ее собственного безумия».

Я не знал тогда, что его слова сбудутся.

Я думал, что он просто хочет, чтобы кто-то помнил.

Теперь я понимаю: он хотел, чтобы кто-то рассказал правду.

Весной 1404 года, через несколько недель после его первого оммажа, я смотрел, как герцог Жан покидает Дижон, чтобы вернуться в Париж для празднования брака своей дочери с дофином. Он сидел на коне прямо и неподвижно, как статуя на гробнице. Его лицо было скрыто тенью капюшона, но я знал, что там, под этим спокойствием, уже зреет буря.

Он попрощался со мной коротко: «Будь готов. Я скоро пришлю за тобой».

Я стоял у ворот дворца и смотрел, как он уезжает. За ним следовали его рыцари, его знамена, его надежды и его страхи. Я думал о том, что он сказал мне тогда: «Они не понимают, что мир — это война».

Может быть, он был прав. Может быть, мир всегда был войной, просто мы, глупцы, не хотели этого признавать.

Но в тот момент, глядя на его удаляющуюся фигуру, я чувствовал только одно — страх. Не страх перед ним. Страх за него.

Потому что я знал: люди, которые превращают мир в войну, редко выживают. А те, кто выживают, платят за это слишком высокую цену.

Я не знал, что цена эта будет стоить Франции короны.

А мне — души.

Запись Жильбера де Куртене. Ноябрь 1422 года, изгнание. Я пишу это спустя восемнадцать лет, но помню всё до мельчайших подробностей. Герцог Жан был не добрым и не злым. Он был прав. Но правда, которую он носил в себе, была тяжелее, чем любая ложь. И она раздавила нас всех.

Глава 2. «Два зеркала»

Я стал связным случайно.

Осенью 1404 года герцог Жан вызвал меня в свой кабинет в отеле Артуа и сказал, не поднимая глаз от бумаг:

«Ты говоришь по-итальянски?»

«Немного, монсеньор. Меня учил один купец из Генуи, когда я был мальчиком».

«А по-латыни?»

«Да, монсеньор. Мой наставник говорил, что я пишу лучше, чем большинство клириков».

Герцог поднял глаза и посмотрел на меня с тем же холодным интересом, с каким рассматривают нового коня. «Хорошо. Ты будешь ездить в Лувр. Мне нужен человек, который умеет слушать и запоминать. Ты будешь моими ушами при дворе Орлеана».

Я кивнул, хотя внутри меня всё сжалось. Лувр. Двор Орлеанского герцога. Место, где кружились самые яркие звезды французского королевства — и самые опасные змеи.

«Я готов, монсеньор».

«Ты готов, — повторил он с легкой усмешкой. — Жильбер, ты даже не представляешь, что значит быть готовым к тому, что тебя ждет в Лувре. Но ты узнаешь».

Он оказался прав.

Первый раз, когда я переступил порог Лувра, я почувствовал себя так, будто вошел в другой мир.

В отеле Артуа всегда было тихо. Слуги двигались бесшумно, рыцари говорили приглушенными голосами, даже лошади в конюшнях вели себя так, будто их объезжали для похоронной процессии. Герцог Жан не терпел шума, суеты или пустых разговоров. Его двор напоминал монастырь, где вместо молитв читали донесения, а вместо покаяния составляли отчеты о налогах.

В Лувре было иначе.

В Лувре было шумно, ярко и пахло духами, которые могли бы сбить с ног самого стойкого рыцаря. Там пели, смеялись, играли на лютнях и спорили о поэзии так же горячо, как в отеле Артуа спорили о границах фьефов. Там женщины носили платья с такими глубокими вырезами, что даже я, молодой и неопытный, краснел, глядя на них. И там царил Людовик Орлеанский.

Герцог Людовик был полной противоположностью герцога Жана.

Он был красив той мягкой, почти женственной красотой, которая редко встречается у воинов. Его волосы были светлыми, как у короля его брата, а глаза — темными, с вечной насмешкой и какой-то усталой мудростью. Он говорил тихо, но так, что его слушали все. Он улыбался даже тогда, когда говорил о самых серьезных вещах.

Я смотрел на него из тени колонны в день моего первого визита и думал: «Как можно сравнить этих двоих? Они как огонь и лед».

Огонь — это был Людовик. Он сжигал всё, к чему прикасался, но он же согревал тех, кто был рядом с ним. Я видел, как к нему подходят поэты с новыми стихами, как он кивает, поправляет, советует. Я видел, как он обсуждает с кардиналами тонкости богословия и при этом успевает шепнуть что-то на ухо даме, стоящей рядом.

Лед — это был Жан. Он ничего не сжигал, он просто давил. Всей своей волей, всей своей ненавистью, всей своей одержимостью.

В тот день я вернулся в отель Артуа поздно ночью и записал всё, что видел. Я писал до тех пор, пока у меня не заболели пальцы, а потом понял, что не могу найти слов для главного. Я не

мог описать ощущение, которое преследовало меня весь день: будто я смотрел в два зеркала, и в каждом из них отражалась одна и та же Франция, но по-разному.

В зеркале Орлеана она была живой, цветущей, жестокой, но красивой.

В зеркале Бургундии она была мертвой, холодной, расчетливой и уже искалеченной войной, которая еще не началась.

Через месяц я уже знал Лувр как свои пять пальцев.

Я знал, где хранятся письма, которые герцог Орлеанский получал от своего тестя, герцога Миланского. Я знал, какие книги он читает по ночам. Я знал имена его любовниц — и их количество поражало даже меня, человека, выросшего при военном дворе. Но я знал и другое: за этой внешней беспечностью, за этим блеском и шумом скрывался ум, который мог быть опаснее любой армии.

Людовик Орлеанский был не просто поклонником искусств. Он был политиком. Он умел ждать, умел терпеть и умел наносить удары, когда никто этого не ждал. Я видел, как он обсуждает с послом короля Кастильского детали торгового соглашения, а через час диктует письмо, которое должно было разрушить все договоренности, достигнутые накануне.

Он делал это с улыбкой. С улыбкой, которая заставляла людей думать, что он их друг. А потом он заходил в свой кабинет и говорил своим секретарям: «Запомните их имена. Они нам еще пригодятся».

В отеле Артуа таких игр не было. Там играли по-другому.

Однажды в начале 1405 года я сидел в маленькой комнате в Лувре, переписывая какое-то письмо на латыни для канцлера герцога Орлеанского, когда в дверь вошел молодой человек.

Его звали Клеман де Фруассар. Он был поэтом, и его стихи читали во всех салонах Парижа. Он был другом герцога Людовика и, как говорили, одним из его самых доверенных людей.

«Ты тот самый писец из отеля Артуа?» — спросил он, глядя на меня с любопытством.

«Да, мессир».

«Герцог говорил о тебе. Он сказал, что ты умеешь слушать. Это редкий дар».

Я не знал, что ответить, и просто кивнул.

Клеман сел напротив меня и положил на стол лист пергамента. «Прочти это. Это новая поэма герцога. Он хочет, чтобы ты переписал ее для его библиотеки».

Я взял пергамент и начал читать. Это были стихи на старофранцузском, полные страсти и боли. Они были о женщине, о любви, о том, как человек горит в огне, который не может погасить. Я читал и чувствовал, как сердце начинает биться быстрее.

«Красиво, правда?» — сказал Клеман.

«Да, мессир».

«Герцог пишет лучше всех. Он мог бы быть великим поэтом, если бы не был герцогом».

Я смотрел на эти строки и думал о герцоге Жане. Он тоже мог бы быть поэтом, если бы захотел. Но он предпочитал писать письма, которые убивают.

Теперь я начал видеть разницу еще яснее.

В Лувре жили красотой. Там любили музыку, стихи, искусство. Там искали наслаждения и радости, даже если это означало рисковать душой. Там верили, что жизнь — это дар, и его надо прожить так, чтобы не жалеть потом.

В отеле Артуа жили долгом. Там не было места для красоты или радости. Там была только работа, расчет, подготовка к тому, что неизбежно должно было прийти. Там верили, что жизнь — это битва, и надо быть готовым к ней в любой момент.

Я не мог сказать, какой из этих двух миров был правильным. Может быть, оба были неправы. Может быть, правда была где-то посередине. Но я знал одно: они не могли сосуществовать. Рано или поздно красота должна была столкнуться с долгом, стихи — с мечом, поэзия — с политикой.

Весной 1405 года я присутствовал на совещании в Лувре, которое изменило всё.

Герцог Орлеанский собрал своих ближайших советников, чтобы обсудить налоги, которые он хотел ввести для войны с Англией. Я стоял в углу, делая вид, что записываю протокол, на самом деле запоминая каждое слово.

Герцог говорил о необходимости укрепить границы, о том, что король болен и не может принимать решений, о том, что Франции нужен сильный лидер. Он говорил красиво, и я понимал, почему люди верят ему. Он умел убеждать, умел зажигать надежду.

Но потом слово взял один из его советников, старый граф де Танкарвиль, и я услышал то, что изменило мое восприятие.

«Монсеньор, — сказал он, — если мы введем этот налог, народ возмутится. Бургундский герцог уже сказал, что не позволит собирать его на своих землях».

Герцог Орлеанский улыбнулся. «Мой кузен Бургундский думает, что он может командовать королем. Но он ошибается. Король — мой брат, а не его. И когда я решу, что нам нужны деньги, я их получу».

«Но, монсеньор...»

«Граф, — перебил его герцог, и в его голосе впервые послышалась сталь, — вы не понимаете. Мой кузен Бургундский — не более чем разбойник, который прикрывается именем отца. Я знаю его. Я знаю, что он замышляет. И я не позволю ему разрушить всё, что мы построили».

Я смотрел на него и видел в его глазах ту же холодную ярость, которую я видел у герцога Жана в отеле Артуа.

Они были двумя зеркалами, но в каждом отражался один и тот же страх: страх перед другим.

Когда я вернулся в отель Артуа, герцог Жан ждал меня.

«Что ты узнал?» — спросил он, не глядя на меня.

Я рассказал ему всё, что слышал на совещании. Он слушал молча, с каменным лицом.

«Он говорит о налогах, — сказал герцог, когда я закончил. — Но на самом деле он говорит о власти. Он хочет, чтобы все знали, что он — тот, кто управляет Францией. А я — просто его тень».

Он подошел к окну и посмотрел на улицу, где вечерний Париж уже зажигал первые огни.

«Но он ошибается, Жильбер. Я не его тень. Я — его смерть. Он просто еще не знает об этом».

Я содрогнулся, услышав эти слова. В них была не угроза. В них была уверенность.

В ту ночь я долго не мог уснуть.

Я лежал на своей жесткой постели и думал о двух герцогах. О двух дворах. О двух мирах, которые не могли существовать рядом.

Я думал о Людовике Орлеанском, который любил стихи и женщин и верил, что мир можно изменить красотой.

Я думал о Жане Бургундском, который любил только власть и верил, что мир можно изменить только силой.

И я задавал себе вопрос, на который до сих пор не знаю ответа: кто из них был прав?

Может быть, никто.

Может быть, оба были неправы, и правда была в том, что ни красота, ни сила не могли спасти Францию от нее самой.

Я смотрел в потолок, и мне казалось, что я вижу над собой два зеркала. В одном отражалась Франция, улыбающаяся и танцующая под звуки лютни. В другом — Франция, сжавшая зубы и готовящая меч.

Я закрыл глаза и понял, что между этими зеркалами нет места ни для мира, ни для прощения.

Они должны были разбиться.

Запись Жильбера де Куртене. Декабрь 1422 года. Я видел два двора, два мира, две души. Я думал, что смогу быть связным между ними. Я ошибался. Между льдом и огнем не бывает мостов. Есть только война.

Глава 3. «Голос нищих».

День Вознесения 1405 года выдался душным. Небо над Парижем было тяжелым, как свинцовая крыша, и воздух на улицах казался густым, пропитанным запахами навоза, гниющих овощей и пота тысяч людей, которые теснились у стен собора Нотр-Дам.

Я стоял в толпе у входа в церковь, когда услышал, что проповедовать сегодня будет брат Жак Легран, августинец. Я слышал это имя раньше — его называли самым красноречивым человеком во Франции, человеком, который не боится говорить правду даже королям. Мне было любопытно, но я не знал тогда, что этот день станет одним из тех, которые я буду вспоминать до самой смерти.

Королева Изабелла приехала слушать проповедь в сопровождении своей свиты. Я видел ее носилки, покрытые золотой парчой, и ее лицо под вуалью — красивое, но какое-то затравленное, как у человека, который знает, что его ненавидят. Ее сопровождали несколько дам, а за ними — стража с обнаженными мечами. Даже в церкви она не чувствовала себя в безопасности.

Брат Легран поднялся на кафедру, и его голос, низкий и гулкий, разнесся по собору, заглушая шепот.

«Возлюбленные братья во Христе, — начал он, — я пришел сегодня, чтобы сказать вам правду. Не ту правду, которую вы хотите услышать, а ту, которую вы должны услышать. Ибо сказано в Писании: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными»».

Он говорил о добродетелях и пороках, о том, чего должны избегать христиане и что должны соблюдать. Он говорил красиво, складно, как и подобает ученому монаху. Но я видел, что его глаза не отрываются от королевы, и чувствовал, что он готовится к чему-то большему.

И тогда он нанес удар.

«Поистине, я желал бы угодить вам, благородная королева, — сказал он, и его голос стал громче и жестче. — Но я предпочитаю ваше спасение страху, который может причинить мне ваш гнев. Единая богиня Венера царит при вашем дворе. Чревоугодие и пьянство превращают там ночь в день и смешиваются с сладострастными плясками. Сей проклятый и адский кортеж осаждает двор, изнеживает нравы и силы многих людей и часто препятствует изнеженным рыцарям и оруженосцам отправляться в военные походы из страха возвратиться оттуда искалеченными в каком-либо из своих членов».

Я слышал, как кто-то ахнул в толпе. Королева побледнела и сжала руки на коленях. Ее дамы зашептались. Но брат Легран не остановился.

«О королева, — продолжал он, — вот, среди многого другого, что говорится к стыду двора. Если вы не желаете мне верить, облачитесь в платье какой-нибудь бедной женщины и пройдите по городу, вы услышите, как об этом говорят достаточно люди».

Он говорил о роскоши, о том, как богатые тратят на наряды больше, чем бедные могут заработать за год. Он говорил о том, что королева и ее двор живут в грехе, пока народ страдает от голода и налогов. И я видел, как люди вокруг меня кивают, как их лица становятся жестче, как в их глазах зажигается ненависть.

Я смотрел на них и думал: «Они пришли сюда не за словом Божиим. Они пришли за словом, которое оправдывает их гнев».

После проповеди я стоял у колонны, когда ко мне подошел один из слуг герцога Орлеанского. Он был бледен и взволнован.

«Ты слышал, что он сказал?» — спросил он.

«Да, мессир».

«Герцог будет недоволен. Этот монах перешел все границы».

Я кивнул, но думал о другом. Я думал о том, как умело брат Легран связал вину двора с виной народа. Он не просто обличал грехи — он указывал на врага. И этим врагом была не безнравственность как таковая. Этим врагом был герцог Орлеанский и все, кто был связан с ним.

Через три дня, в день Пятидесятницы, я снова оказался в церкви, но на этот раз в королевской молельне. Король Карл, который временно пришел в себя, захотел послушать проповедь брата Леграна лично.

Я стоял позади королевского кресла и видел, как монах поднимается на кафедру. В его походке была уверенность человека, который знает, что его слова не останутся без ответа.

Он начал с текста: «*Spiritus sanctus docebit nos omnem veritatem* — Дух Святой научит нас всякой истине».

Он говорил о таинстве праздника, но я знал, что это лишь прикрытие. Он ждал момента, чтобы снова нанести удар. И когда он перешел к нравам, я понял, что этот удар будет страшнее предыдущего.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.